

The background of the entire cover is a complex, multi-layered spiral clock face. It consists of several concentric rings, each with its own set of numbers and tick marks. The numbers are arranged in a way that creates a strong sense of depth and rotation, drawing the viewer's eye towards the center. The colors are primarily dark blue, white, and gold, giving it a classic, elegant feel.

ФРАНЦ  
КАФКА

*Лабиринт*

АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Франц Кафка

**Лабиринт**

«Азбука-Аттикус»

1923

УДК 821.112.2 (436)  
ББК 84(4Авс)-44

## **Кафка Ф.**

Лабиринт / Ф. Кафка — «Азбука-Аттикус», 1923 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-16927-2

Франц Кафка – один из самых знаменитых и загадочных гениев XX века, «непостижимый мастер и повелитель царства немецкого языка» (Г. Гессе). Мир его книг – наваждение и абсурдный кошмар, но приобщение к этим вселенским тревогам, неожиданное прозрение в них чего-то близкого, интуитивно понятного оборачивается ни с чем не сравнимым читательским удовольствием. «Я не нашел здесь ни одной строчки, которая не задевала бы меня лично и не удивляла бы бесконечно...» – написал Р. М. Рильке о вошедшем в настоящее издание сборнике «Сельский врач». В книгу также включены сборники «Созерцание», «Голодарь» и рассказы «Лабиринт» и «Исследования одной собаки» – шедевры так называемой серии бестиариев Кафки. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.112.2 (436)  
ББК 84(4Авс)-44

ISBN 978-5-389-16927-2

© Кафка Ф., 1923  
© Азбука-Аттикус, 1923

## Содержание

Путь к «Лабиринту»	6
Лабиринт	9
Созерцание	25
Дети на улице	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

# **Франц Кафка**

## **Лабиринт**

© Ю. И. Архипов (наследник), статья, перевод, комментарии, 2019

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2011

Издательство АЗБУКА®

## Путь к «Лабиринту»

Два человека повинны в том, что я занялся, наряду с эссеистикой, еще и художественным переводом. Николай Михайлович Любимов и Франц Кафка. Вернее, в таком порядке: Кафка и Любимов.

Дело в том, что в свое время мне, выпускнику-медалисту киевской «шестой зализничней» школы, и в голову не приходило изучать германистику. В МГУ, на филфак, я прибыл поступать на русское отделение. Древняя Русь, пушкинская эпоха, Серебряный век – вот были вехи моих колебаний.

Но в тот (1960-й) год «школьников», то есть абитуриентов без трудового стажа, на русское отделение не принимали. Оставалось попытать счастья на отделении романо-германском. Поскольку иностранный язык в школе у меня был немецкий, то и группа там могла быть только немецкая.

Хитроумный план мой состоял в том, чтобы, отмаявшись семестр-другой среди «чужеземцев», перебраться потом к родным осинам. Однако очень скоро, в самом начале первого же семестра, неведомое прежде любопытство к готическим глаголам во мне проснулось. А уж когда в крошечной факультетской библиотеке нашей обнаружили прижизненные издания Кафки и Рильке, я и вовсе завяз в них, как позже выяснилось, навсегда. И ни на какие уговоры профессоров-русистов оставить сомнительное «внешнеторговское» отделение ради таинств возвышенной русской речи я не поддался. Вряд ли могли меня сманить тогда не менее значительные Томас Манн или Роберт Музиль – те скорее отпугнули бы своей эзотерикой философом. А проза Кафки и Рильке показалась такой прельстительно доступной. И затягивающей как в омут, ведь их «слова простые, сестры-замарашки» (Рильке) были нагружены смыслами лишь обманно прозрачными, а по сути – бездонными. Вот эта ажурная словесная вязь с просветами в вечность и приковала к себе, как некая магическая ворожба.

С книгами Кафки я не расставался – иной раз до тех пор, пока вслед за строгими предупреждениями не следовали санкции библиотеки. В 1965 году, когда я был уже на пятом курсе, вышел толстенький сборник Кафки по-русски. И сильно меня разочаровал. Ни прозрачности, ни ажюра, ни магии в большинстве тех переводов не было и в помине.

Досада была тем огорчительнее, что как раз в ту пору я изведаль счастье знакомства с истинным мастерством художественного перевода. «Новомирская» статья Бахтина «Строгий мастер» указала мне на «Гаргантюа» Рабле в переводе Любимова. И я увидел, каким можно быть чудесным писателем, работая с чужим текстом. Стал вечерами, а то и ночами что-то переводить для себя. Опубликовал даже еще студентом в журнале «Радио и Телевидение» рассказ Германа Броха (ритмизацией своей похожего на моего любимца Андрея Белого) и радиопьесу Генриха Бёлля.

Начало было положено. За сорок последовавших лет прибавились потом десятки увлекательных немцев – прозаиков и драматургов. Из самого памятного, кроме Кафки, Броха и Бёлля: Георг Бюхнер, Фридрих Ницше, Роберт Вальзер, Гуго фон Гофмансталь, Йозеф Рот, Герман Гессе, Альфред Дёблин, Эрих Мария Ремарк, Эден фон Хорват, Макс Фриш, Гюнтер Грасс, Арно Шмидт, Вольфдитрих Шнурре, Мария Луиза Кашниц.

А первый толчок всему дал, повторяю, Любимов. Видимо, всякое совершенство, притягивая нас к себе, способно разбудить скрытые возможности, которые без счастливого импульса извне остались бы втуне. На этой цепной реакции и стоит культура. Поделиться радостью узнавания, зажечь творческим огоньком – вот ее первостатейное назначение. Любопытно, что Анатолий Ким, очень крепкий, самобытный прозаик, как-то признался мне, что и у него были два определивших судьбу поводыря на пути в литературу. И один из них – тоже Любимов! Вообще-то, Ким, выпускник художественного училища, к тому времени вполне состоялся вроде бы

в другой профессии, зарабатывал уже графикой. Как вдруг на глаза ему попался все тот же «Гаргантюа», ошеломивший – даже в переводе! – роскошью русскоязычной палитры. Вторым импульсом для него стала повесть Роберта Музиля «Тонка», напечатанная в 1970 году журналом «Иностранная литература» в переводе А. Карельского и с моим предисловием. Так переплетается все в этом мире, так взаимодействуют отзвуки единой словесной страсти.

С самим Любимовым я познакомился, к сожалению, поздно, незадолго до его кончины. Свой семинар по художественному переводу он вел в другом вузе – родном для него Институте иностранных языков. Сообщение о том мелькнуло как-то и у нас на факультетской доске объявлений, однако инертность, этот неумолимый чербер, не дала вовремя прошагать каких-то два или три километра. Свидание с мастером отложилось на целую четверть века. Он призывал меня в гости, прочитав в моем переводе «Исследования одной собаки» Кафки: была такая изящная книжица, изданная Союзом писателей СССР. Мэтр перевод мой удостоил участливого одобрения – можно сказать, благословил на поприще. И даже попросил увенчать послесловием его и Пруста «Беглянку», что мной и было исполнено. Потом еще я написал несколько слов к его «Лингвистическому словарю». Не то чтобы горжусь, но такой перст судьбы, конечно, отраден.

Надеюсь, что усвоил, сколько мог, уроки великого мастера.

Прежде всего – стремиться к тому, чтобы чужеземный автор заговорил в твоём переводе по-русски. А для этого нужно безжалостно выпалывать буквализмы (в моем случае – въедающиеся в подсознание германизмы). В идеальном случае должно возникнуть впечатление, что вот перед нами еще один великолепный русский писатель с лица необщим выраженьем, которого мы раньше почему-то, по какой-то причуде судьбы, не знали. Надеюсь, что таков в моем переводе, прежде всего, Роберт Вальзер («Кафка в мажоре», как сказал о нем тезка Музиль). А местами и Кафка, Брех, Рот, Грасс, Шнурре. Не захотелось мне ничего изменить и при переизданиях Гессе. Что вообще-то случается редко; перевод, как всякое искусство, настаивает на шлифовке почти бесконечной – иной раз кажется, что само время требует вносить изменения в давно сделанную работу.

Чтобы добиться искомой «русскости», нужно корпеть не только над словарями, учил Любимов, но и слушать «шум времени» в его словесной огласке, то есть работать со словом по-писательски. Соединяя в себе ученого и писателя. Интерпретатора и со-творца. Художественный перевод и есть такой творческий синтез – подобный «королевской» игре в шахматы: точность плюс фантазия, математический расчет плюс интуитивное прозрение.

Всегда следую практическому совету Любимова: подбирать переводимому автору русскоязычные аналоги. Начиная даже рабочий день с чтения нескольких страниц отечественного прообраза. Не для того, чтобы «красть», как говорил мастер, но чтобы учиться приемам: ладу и строю реплики, фразы, периода, страницы, главы, наконец, всего произведения в целом. Чтобы внимать синтаксису, благозвучию, меткости, краткости, изяществу, лихости, плавности, сдержанности, озорству и так далее и так далее – характеристика истинно художественного текста неисчерпаема и всякий раз индивидуальна.

Бывают счастливые для переводчика случаи словно бы параллельных писательских судеб, когда, если быть мистиком, прельстительно поверить в то, что некая единая писательская душа раздвоилась в каком-то там астрале, чтобы писать одновременно на двух языках – немецком и русском. Таковы, к примеру, Герман Брех и Андрей Белый, Йозеф Рот и Исаак Бабель (которые даже вышли из одной местности и одной среды, родились в один год и в один год погибли!).

Но чаще приходится составлять некую смесь, своего рода коктейль из текстов русских авторов той же эпохи, что и переводимый автор. Так, в «коктейль для Роберта Вальзера», помнится, вошли у меня точеные прозаические опыты Ремизова, Кузмина, графа Василия Комаровского, а также «Черный араб» Пришвина, «Печаль полей» Сергеева-Ценского, «Темные

аллеи» Бунина. То есть русские создатели общей для европейской литературы начала XX века интонации творческого всеединства, согласия муз, когда проза была не менее, чем поэзия, музыкальна и когда вся культура дышала живописными поисками.

Для «минорного» Кафки пришлось добавить сюда для горечи Сологуба, Добычина, Вагинова и – особенно близкого ему – Кржижановского.

И еще один завет Любимова – выбирая писателей для перевода, отыскивать в них что-то близкое тебе, переводчику. Нашупывать в памяти схожий опыт переживания реальности, ее небанального, образного, подчеркнуто «художественного» видения. Ловить некую общую с авторами волну, устанавливать некий душевно-эстетический, что ли, контакт. Иной раз – совершенно неожиданный. Но великий писатель потому и велик, что универсален, и всегда найдется что-то, чем он близок именно тебе.

Вот хоть «случай Кафки» (der Fall Kafka), как говорят немцы. Казалось бы, что может быть у меня с ним общего? Он – ровесник моего деда, крутого орловского мужика, боцмана-виночерпия с «Потемкина», он был отъединен от меня не только годами, биографией, но и «железным занавесом», делавшим его родину для нас недоступной. Зато эта мелодия меланхолии, интровертный взгляд на мир «подстриженными глазами» (Ремизов)... Эта потусторонняя просвеченность, «остраненность» и отчужденность всегда немного загадочных контуров городских зданий и улочек... Эта невнятица и нескладница отношений в кругу не то людей, не то теней и «недотыкомов» (Сологуб)...

Еще ближе, конкретнее. Я, послевоенный полусирота, жил вдвоем с отцом, и отношения мои с ним нередко напоминали кафковские. В девятнадцать лет, когда я в очередной раз покинул дом, хлопнув дверью, я даже оставил ему на столе записку, которую он потом долго хранил как документ, изобличающий мою строптивость и черствость. Чем не «Письмо отцу» Кафки?

Или вот. В детстве, когда он уезжал в командировки, я часто оставался один в нашей сложносочиненной (таганрогской в ту пору) квартире. И больше всего любил соорудить из табуреток, скамеек и стульев некий запутанный *лабиринт* и накрыть его раскидистым отцовым ковром – как покровом из дерна.

Лишь полвека спустя я впервые побывал в Праге. Бродил по городу, узнавал описанные Кафкой места, удивляясь тому, что у него они вроде бы и смазанее, но и, странным образом, как-то четче – сумрачнее, но ярче. Художество как увеличительное стекло, как проявитель невидимого или слабо различимого. Латерна магика и есть.

Итак, через полвека я перевел «Лабиринт» – и снова погрузился в свои упоительные таганрогские игры.

Писательство Кафка понимал как выброшенность из мира «нормальных» профессий. Писателя – как вечно натянутый, иногда оголенный нерв, «затерянный среди опасностей литературы». Спасительный ориентир – только вечные ценности, сосредоточенные в шедеврах.

«Прощайте, друзья!» – обратился к книгам на одре своем Пушкин. В самом деле, нет у нас друзей более верных, щедрых и утешительных.

И один из самых безотказных утешителей наших – грустный Кафка.

*Юрий Архипов*



## Лабиринт

Постройку свою я завершил, и вроде бы она удалась. Снаружи ничего не видно, кроме большого лаза, но на самом-то деле он никуда не ведет – через пару шагов упираешься в камень. Не стану хвалить себя за эту мнимую хитрость: дыра осталась после многих тщетных попыток что-то тут соорудить, и в конце концов я решил одну из дыр оставить незасыпанной. А то ведь, неровен час, перехитришь себя самого, я-то это умею, а в данном случае, упирая на особое значение этой дыры, можно создать смелое, но ложное впечатление, будто за ней кроется нечто достойное обследования. Ошибется тот, кто подумает, будто я трусоват и только из трусости затеял свою постройку. Шагов за тысячу от этого отверстия находится, прикрытый мхами, настоящий вход в мое жилище, вход надежный – насколько может быть надежным что-либо на свете; разве что наступит на мох кто-нибудь в этом месте и провалится, тогда, конечно, жилье мое откроется, а при желании – и при известной, не так уж часто встречающейся сноровке – в него можно будет проникнуть и все тут порушить. Мне это ясно, так что даже теперь, достигнув всего, я часа не ведаю вполне спокойного; я ведь знаю, что уязвим: по ночам в полусне то и дело мерещатся мне оскаленные хищные морды, рыщущие над моим покровом, сотканным из мха.

Я бы мог, скажут мне, засыпать входное отверстие сверху тонким слоем крепкого щебня, а пониже слоем рыхлой земли, чтобы, если понадобится, скоренько раскопать выход. Однако это-то и невозможно; как раз предосторожность требует оставить себе возможность мгновенного бегства на свободу, как раз предосторожность требует – как это, увы, слишком часто бывает – жить с риском для жизни. От таких расчетов кругом идет голова, и только восторг от собственной расчетливости понуждает их продолжать. Я должен иметь возможность чуть что задать стрекача, ведь при всех мерах предосторожности нападение может произойти с самой неожиданной стороны. Живу себе, может статься, преспокойно в своих глубинах, а враг тем временем потихоньку пробуравливает откуда-нибудь ко мне отмычку. Не берусь утверждать, что нюх его тоньше, чем мой; возможно, он так же мало знает обо мне, как я о нем. Но ведь есть разбойники одержимые, что роют и роют землю во всех направлениях и при такой протяженности моей постройки могут наткнуться на один из моих коридоров. Разумеется, на моей стороне то преимущество, что я-то у себя дома и все ходы-выходы тут знаю. Так что разбойник легко может стать моей жертвой, иной раз и весьма вкусной. Однако же я старею, среди моих врагов немало и тех, что сильнее меня, а врагов у меня тьма, неровен час, убегая от одного, попадешь в лапы к другому. Все, все может случиться! Как бы там ни было, но я должен быть уверен, что где-то есть у меня легкодостижимый припрятанный выход, где мне не нужно, чтобы выбраться, еще потрудиться, а не так, что я в отчаянье рою, а сзади – боже упаси! – вцепляются в мои ляжки чьи-то немилосердные зубы. И не только от внешних врагов исходит угроза. Отыскиваются таковые и в теснинах земли. Я их, правда, еще не видел, но предания о них повествуют, и я этому верю. Те существа – жители подземелья, и даже предания не могут толком их описать. Даже те, кто стал их жертвой, не смогли их разглядеть. Слышно лишь, как в земле, где они обитают, скребутся когти; только зазевайся – и ты пропал. И тут не зачтется, что ты у себя дома, скорее уж, это их дом. И не спасет тогда запасной выход, да и не для того он, чтобы им спастись, а для спокойствия и надежды, без которых мне не выжить. Помимо этого большого лаза есть у меня еще множество узеньких, довольно безопасных ходов, через которые поступает свежий воздух. Проложили их мыши-полевки. Я догадался вмонтировать их в свое жилище – чтобы раздвинуть границы своего принюхивания и тем самым еще больше обезопасить себя. Кроме того, по ним проникает ко мне всякая съедобная мелочь, так что можно иной раз добыть кое-какую живность, не выходя из дома. Вещь, конечно, бесценная.

Но всего прелестнее в жилище моем – тишина. Пусть и обманчивая. Может нарушиться в один миг, и тогда всему конец. Но пока-то она еще держится. Я могу часами красться по

своим переходам, не слыша ни звука, разве что прошуршит какой мелкий зверек, чтобы тут же и утихнуть у меня в зубах, или прошелестит где-нибудь легкая осыпь, напоминая о необходимости кое-каких ремонтных работ; а так все тихо. Веет лесной ветерок, разом и прохладный, и теплый. Иногда я растягиваюсь на полу и переваливаюсь с боку на бок от удовольствия. Славно встречать старость в этаким доме, зная, что осень не застанет тебя без крыши над головой. Через каждую сотню метров я, расширив ходы, устроил небольшие закругленные площадки, где могу, свернувшись калачиком, согреть сам себя и отдохнуть. Там я сплю сном самым сладким и праведным, какой только и может быть у того домовладельца, чьи потребности удовлетворены, чьи цели достигнуты. Не знаю, привычка ли то прежних времен, чувство ли опасности даже в таком укрыище, но время от времени меня словно выталкивает что-то из сна, и тогда я все прислушиваюсь к тишине, которая неизменно царит здесь и ночью, и днем; а потом, успокоившись и расслабившись, я погружаюсь с улыбкой в еще более глубокий сон. Бедные бездомные бродяги, кочующие по лесному бездорожью, пытающиеся согреться в куче листвы или в сгрудившейся стае себе подобных, выданные всем несчастьям и бедам земной юдоли! А я лежу себе здесь, на площадке, со всех сторон защищенной, – более пятидесяти таких в моем жилище – и предаюсь то глубокому сну, то легкой дреме, выбирая между этими состояниями по своему усмотрению.

Не совсем посередине постройки, в строго рассчитанном месте, удобном для отражения опасности – не прямого нападения, может быть, но осады, – находится моя главная площадь. Если прочее строительство потребовало от меня напряжения не столько тела, сколько ума, то эта крепость явилась плодом предельных телесных усилий. Не единожды я приходил в отчаяние от измождения и, желая все бросить, кидался в рыданиях и проклятиях навзничь, а потом с трудом выбирался наружу, оставляя позади себя недоделанный недострой. Я мог так поступать, потому что не собирался к нему возвращаться, но потом, часы или дни спустя, я, движимый раскаянием, все-таки снова был здесь и чуть ли не гимны пел от восторга, что все уцелело как было, и заново принимался за дело. Хотя сверхусилия по возведению этой крепостной площади были во многом напрасны (то есть польза от них была неоправданной), ибо почва над ней оказалась, вопреки расчетам, песчаной и рыхлой, и землю там приходилось прямо-таки спрессовать, чтобы возвести красиво закругленные стены и свод. А для таких работ нет у меня, кроме собственного лба, иных инструментов. Вот я и бился с разбегу собственным лбом в эту землю тысячи и тысячи раз днем и ночью и бывал счастлив, когда выступала кровь, ибо то был признак отвердения стены; так что нельзя отрицать, что свою крепость я заслужил.

На этой площади держу я свою припасы – складываю здесь все, что остается от моей добычи как в подземелье, так и снаружи, сверх текущих потребностей. Площадка так велика, что ее не заполняют целиком даже полугодовые припасы. Поэтому я могу их раскладывать, прохаживаясь между ними, играя с ними, наслаждаясь их запахами и обилием и всегда имея перед глазами их полный обзор. Могу и перекладывать что-то в зависимости от времени года, могу строить расчеты и охотничьи планы. Порой я бываю настолько всем обеспечен, что из равнодушия к пище вовсе не трогаю всю ту мелкоту, что тут шныряет, а это, может статься, и есть неосторожность. Постоянные занятия мои подготовкой к обороне приводят к тому, что мои соображения по использованию лабиринта в этих целях меняются, развиваются – в известной степени, разумеется. Иной раз мне кажется неразумным сосредоточивать всю продовольственную базу на одной главной площади, ведь разветвленность лабиринта предоставляет мне возможности разнообразные – скажем, разместить часть припасов на меньших площадках; вот я и решаю подчас отвести каждую третью площадку под резервные запасы, а каждую четвертую – под основные, а каждую вторую – под дополнительные и так далее. То я маскировки ради вообще исключаю часть ходов из числа хранилищ, то по какому-то наитию избираю совсем немногие из них – те, что находятся поближе к главному коридору. Каждый такой новый план требует от меня тяжелой работы грузчика, ибо, следуя новым расчетам, мне приходится туда-

сюда таскать тяжести. Правда, я могу это делать спокойно, без спешки, и не такое уж это худое дело таскать в зубах вкусные тяжести, поминутно отдыхая, где вздумается, и лакомясь, чем захочется. Куда хуже бывает, когда я вскакиваю посреди сна от кошмара и мне чудится, что теперешний порядок не просто никуда не годится, а полон опасностей, и, невзирая на усталость и сонливость, я бросаюсь спасать положение; впопыхах, на лету, без предварительных расчетов; но, преследуя мелькнувший в голове и показавшийся убедительным план, я хватаю зубами первое, что попадется, ташу, волоку, охаю, вздыхаю, спотыкаюсь, и тогда любая случайная перестановка кажется мне спасением от грозящих опасностей. И так до тех пор, пока вместе с пробуждением не приходит и протрезвление, так что я не в силах понять, куда и зачем так спешил; и тогда, глубоко вобрав в себя ноздрями мир и покой собственного жилища, которые сам же нарушил, я плетусь обратно в постель и от новой усталости снова проваливаюсь в сон, а когда просыпаюсь, то лишь застрявшая в зубах крыса с несомненностью доказывает мне, что вся эта ночная возня мне не приснилась. Но проходит время, и вновь мне начинает казаться, что собрать все припасы на одной площадке и является наилучшим решением. Что толку мне от припасов, рассредоточенных по мелким площадкам, да и сколько всего может там поместиться, а проходы будут забиты, что наверняка помешает моему бегству при обороне. И кроме того, хоть это, может быть, глупо, но ведь и впрямь наша уверенность в себе возрастает, когда мы видим перед собой большее собрание припасов. И не много ли всего потеряется, начни я делить собранное на мелкие части? Не могу же я вечно скакать туда-сюда по своим коридорам, чтобы убедиться, что все пребывает на месте. Сама по себе мысль о разделе припасов, может, и верна, но только в том случае, если имеется несколько таких площадок, как моя крепостная площадь. Несколько! Конечно же! Но кому это под силу? Да и не внесешь их теперь в генеральный план моего лабиринта. Хотя я вынужден признать эту ошибку плана, как вообще ошибочен всякий план, основанный на единичности чего-либо. Как признать и то, что во все время стройки ворочалась во мне эта хоть и подспудная, но явная мысль о необходимости нескольких крепостей с площадями, а не поддавался я ей лишь потому, что чувствовал себя слишком слабым для такой неподъемной работы, а еще потому, что надеялся на счастливый свой жребий: провидению, мол, будет угодно, в виде исключения, пожалуй, мой трамбующе-копательный лоб, и все и обойдется.

Вот и остался я с одной только крепостью, а смутные тревоги мои насчет того, что этого недостаточно, испарились. Как бы там ни было, я вынужден довольствоваться одной-единственной площадкой такого размера, маленькие никак не могут ее заменить, и, когда во мне вызревает такое мнение, я опять начинаю перетаскивать все сюда. На какое-то время я бываю утешен тем, что все площадки и проходы снова свободны, а на крепостной площади громоздится гора из съестных припасов, распространяющих во все концы смесь ароматных запахов, которые мне так приятно различать даже издали. Потом наступают особенно покойные времена, когда я постепенно переношу свое ложе все ближе и ближе к центру, все глубже погружаясь в прельстительные ароматы; и вот однажды ночью не выдерживаю и набрасываюсь на эту гору припасов на крепостной площади, остервенело роюсь в ней как безумный и до полного одурения объедаюсь тем, что люблю всего больше. Счастливые, но опасные времена; найдись кто-нибудь, кто сумел бы ими воспользоваться, он мог бы запросто, ничем не рискуя, меня уничтожить. В этом тоже сказывается отсутствие у меня второй крепости; единожды собранное скопление – слишком большой соблазн для меня. Я всячески пытаюсь ему противиться, распределение припасов по меньшим площадкам – тоже одна из мер; к сожалению, как все подобные меры, она ведет лишь через ограничение к еще большей жадности, которая, помутив разум, пагубно сказывается на нуждах обороны, подвергаемых произволу перемен.

После таких периодов, чтобы как-то прийти в себя, я подвергаю ревизии свою постройку и, произведя необходимый ремонт, нередко, хоть и не надолго, покидаю ее. Долгое отсутствие

я воспринимаю как наказание, но с необходимостью коротких отлучек нельзя не примириться. К выходу я приближаюсь всякий раз не без торжественности.

В периоды жизни сугубо домашней я даже избегаю к нему приближаться, никогда не вступаю в разветвления ведущего к нему хода; да там особо и не погуляешь, ибо там я устроил целое переплетенье маленьких коридорчиков; с того места я начал свое строительство и не смел даже надеяться поначалу, что осуществляю его точно по плану; энтузиазм первопутка вылился в создание лабиринта, показавшегося мне в то время шедевром строительного искусства; теперь-то я, вероятно, оценил бы его как мелкую, недостойную замысла поделку, хотя в теории она выглядит восхитительно: вот вам портал дома моего, словно бы в насмешку говорил я незримым врагам, предвидя, как они все задыхаются в этом предбаннике-лабиринте; а на самом-то деле то была всего лишь тонкостенная игрушка, которая не могла устоять под натиском серьезного или отчаянно сражающегося за свою жизнь противника. Перестраивать ли мне эту часть своего жилища? Я все откладываю решение, и, скорее всего, все останется так, как есть. Помимо огромной работы, которую мне пришлось бы на себя взвалить, она была и невообразимо опасной. Тогда, в начале строительства, я мог работать относительно спокойно, без особого риска, но теперь это значило бы чуть ли не нарочито привлечь всеобщее внимание к моему лабиринту; так что никакая перестройка теперь невозможна. Что меня почти радует, ибо я к своему первому детищу по-своему привязался. А если последует мощный натиск, то какой абрис прихожей сумеет его сдержать?

Вход может обмануть, отвлечь, помучить внимание нападающего, а с этим и мой художно справляется. Настоящему же, грандиозному нападению предстоит противопоставить все оборонные качества моего жилища, и тут понадобятся, ясное дело, все мои телесные и душевные силы. Так что пусть уж этот вход остается. У постройки в целом немало слабостей, доставшихся ей от природы, вот и еще одна, созданная моими руками, – запоздало, конечно, но точно опознанная. Все сказанное не означает, однако, будто слабость эта меня вовсе не беспокоит – и не только временами, но постоянно. Когда я прогуливаюсь, по обыкновению, по своему лабиринту, то ведь избегаю заглядывать в этот угол, потому что вид его мне неприятен: слишком крепко засела в моем подсознании губительная мысль о здешних несовершенствах. Пусть нельзя здесь уже ничего исправить, но усугублять печаль по этому поводу тоже не нужно. Стоит мне только направиться в сторону выхода, даже не приближаясь еще к ведущим к нему площадкам и коридорам, как я уже попадаю в атмосферу повышенной опасности и моя шкурка истончается так, будто я стою голомясый, выданный рыку моих врагов. Конечно, такие чувства вызывает прежде всего сам выход, то есть место, где кончается защита дома, но особо мучает меня и сама эта часть постройки. Порой мне снится, что я все здесь перестроил, полностью все изменил, быстро, за одну ночь штурма, незаметно для всех, и теперь здесь неприступная крепость; этот сон – сладчайший из всех, слезы радости и избавления еще стекают по моему подбородку, когда я просыпаюсь.

Итак, мучительность лабиринта мне приходится преодолевать даже и телесно, когда я выхожу, и меня одновременно и сердит, и трогает, что я иной раз запутываюсь в извилах собственного сооружения, и оно словно бы силится еще раз доказать мне свое право на существование, хотя приговор мой давно уже вынесен. И вот я нахожусь под самым покровом из мха, которому всегда даю вырасти и сравняться с землей, прежде чем выйти из дома, что делаю в том только случае, когда путь на чужбину легко можно пробить себе головой. На это легкое движение, однако, я не решаюсь подолгу, и, если бы для возвращения восвояси мне не надо было бы снова преодолевать лабиринт у входа, я бы, скорее всего, не вышел наружу. Да и зачем? Твой дом защищен и самодостаточен. Живешь ты покойно, в тепле, в сытости, как настоящий господин, единственный хозяин всех этих ходов и площадок; ведь всем этим ты, надо надеяться, не станешь жертвовать, разве что частично; но утраченное ты вернешь – в том твое упование, а высокая, слишком высокая ставка – для тебя ли она? Есть ли для нее разум-

ные основания? Нет, для подобных вещей не бывает разумных оснований. И вот я осторожно приподнимаю откидную дверцу и, выбравшись наружу, осторожно ее опускаю и со всех ног бегу прочь от сего обманного места.

И все-таки я не на воле, хотя и не протискиваюсь по своим ходам, а несусь по лесу, чувствуя во всем теле новые силы, которым не развернуться было бы в моей постройке, даже на крепостной главной площади, будь она даже в десять раз больше. И пища в лесу получше; правда, охотиться тут труднее, иметь успех – тем более, но результат в целом оказывается во всех отношениях ценнее, с этим не поспоришь; разницу я понимаю и могу насладиться ею не хуже любого другого, а пожалуй, и лучше, потому как охочусь я не из легкомыслия или шального отчаяния, подобно какому-нибудь бродяге, но истово и целеустремленно. Да и не для свободной жизни я создан, а потому и не подчинен ей, помня, что время мое отмерено, не век разгуливать мне здесь на свободе, но, лишь захочу или устану, немедля услышу призыв, противиться которому не в моих силах. Да, я могу без забот наслаждаться здешним временем, вернее – мог бы и все-таки не могу. Слишком занят я устройством своей норы. Скор был мой бег от нее, но вернусь я еще скорее. И, хорошенько спрятавшись поблизости, денно и ночью буду наблюдать – на сей раз снаружи – за входом в мой дом. Пусть это выглядит глупо, но мне это доставляет несказанную радость, и это успокаивает меня. Чувство такое, будто не перед домом своим я стою, а перед самым собой спящим, счастливо пребывая сразу в двух состояниях: и сплю, и охраняю свой сон. Словно дана мне такая награда: наблюдать призраки ночи не только в беспомощном простодушии сна, но и в реальности бодрствования, со способностью суждения самой незамутненной. И я нахожу, что со мной все обстоит не так уж и плохо, как мне иногда кажется и как мне, скорее всего, снова будет казаться, когда я спущусь в свое жилище. В этом отношении – не только в этом, но в этом, может быть, больше всего – прогулки мои ничем не заменимы. Конечно, как ни тщательно я выбирал лаз в свое жилище где-нибудь на отшибе, всяческой суеты здесь, если суммировать наблюдения, скажем, целой недели, все же хватает, однако так обстоит, вероятно, повсюду, где водится живность; кроме того, может быть, оно и лучше – быть поближе к большому движению, которое ведь всегда занято самим собой, чем пребывать в уединении, где на тебя скорее наткнется какой-нибудь неторопливый и праздный проныра. Здесь врагов предостаточно, их пособников тоже, но ведь они заняты истреблением друг друга, им не до моей постройки. Никого за все это время не видел я слоняющимся у моего входа – к моему и его счастью, ибо, боясь за жилье, я бы не раздумывая вцепился в глотку любому. Правда, появлялся тут и такой народец, в чьем соседстве я не решился бы оставаться и, едва их завидев, улепетывал со всех ног, не загадывая, что будет с моим домовладением; зато потом, вернувшись, я никого из них уже не видел, а вход был по-прежнему явно целехонек. Выпадали счастливые дни, когда я говорил себе, что враждебность мира по отношению ко мне, похоже, кончилась или утихла, а могучие устои моего сооружения изъяли меня из той всеобщей войны на уничтожение, которая имела место доселе. И что сооружение это защищает меня, видимо, еще лучше, чем я мог надеяться, находясь там, внутри. До того доходило, что меня стали посещать ребяческие мечты не возвращаться более в нору, а, устроившись здесь, поблизости от входа, провести остаток жизни в его непрерывном созерцании, в счастливом убеждении в надежности моего укрытия, стоит мне только им воспользоваться.

Что ж, детские сны – легкая добыча страха. Где она, эта мнимая защищенность? И можно ли судить об опасностях, которых я страшусь, когда бываю там, внутри, по тем наблюдениям, которые делаю здесь, снаружи? Не притупляется ли нюх врагов моих, когда я вне дома? Кое-что они могут учуять, но далеко не все. А ведь настоящая опасность – плод чутья неусеченного, полного. Итак, все, что я здесь измышляю, и наполовину, нет, и на десятую долю не годится для истинного спокойствия, а всякий самообман способен лишь навлечь еще большую опасность. Нет, то не я наблюдаю свой сон, как мне мнится, то бодрствует мой погубитель, пока я сплю. Может, он один из тех, кто с невинным видом прошмыгивает мимо норы, на самом-то

деле, как и я, проверяя, в сохранности ли дверь, по-прежнему дожидается ли она решительного нападения; а он идет себе мимо, потому что знает, что хозяина сейчас нет дома, знает, возможно, и больше: что хозяин в эту минуту тоже ведет свои наблюдения, прячась в кустах. И тогда я покидаю свой наблюдательный пункт, наскучив жизнью на воле, чувствуя, что здесь мне нечему больше научиться – ни теперь, ни потом. И меня распирает желание распрощаться со всем здесь снаружи, спуститься в мой лабиринт и никогда больше не возвращаться сюда, предоставив всему идти своим чередом, не мешая потоку событий бесполезными наблюдениями. Но после долгих созерцаний всего происходящего наверху мне мучительно трудно снова зарываться в глубину, не зная, что в этот миг происходит за моей спиной и что еще произойдет после того, как захлопнется позади меня створка люка. Ночами в лихорадочной спешке я пытаюсь затолкать вниз свою добычу, кажется, это удастся, впрочем, это станет ясно лишь позже, но станет ясно уже не мне или мне, но слишком поздно. Поэтому я долго не решаюсь спуститься. Но рою вместо этого новый ров – на достаточном расстоянии от входа и длиной со свой рост, ложусь туда, укрываясь мхом, как покровом. Там затаившись, я веду свои расчеты и наблюдения и в ночные, и в дневные часы, затем, откинув мох, вылезаю и регистрирую свои наблюдения. Опыт скапливается разнообразный, и дурной, и полезный, однако общего закона или правильной методы спуска в нору я найти не могу. А потому и не спускаюсь вовсе, а только предаюсь отчаянию из-за того, что это сделать все же придется. Я недалек от решения об уходе, о возобновлении своих безотрадных скитаний, полных опасностей в такой мере, что какую-нибудь отдельную опасность не очень-то заметишь и различишь; только надежность постройки моей научила меня сравнивать теперешнюю мою жизнь с остальным миром. Разумеется, такое решение явилось бы глупостью необычайной, следствием затянувшейся гульбы на свободе; постройка-то все еще принадлежит мне, стоит мне сделать один только шаг – и я под защитой. И я сбрасываю с себя оковы сомнений и среди бела дня мчусь прямо к двери, чтобы наверняка приподнять ее, – и не могу этого сделать, пробегаю мимо и нарочно кидаюсь в колючий терновник, чтобы наказать себя, наказать за вину, которой не знаю. И тогда я вынужден признать, что я все-таки прав: невозможно спуститься, не пожертвовав всем, что мне особенно дорого, тому, что меня окружает, – на земле, в воздухе, на деревьях. И опасность эта вовсе не мнимая, а самая настоящая. Даже если за мной по пятам последует, повинувшись соблазну, не мой грозный враг, а какая-нибудь пигалица, вполне ничтожная и невинная, которая, даже не догадываясь о том, возглавит поход против меня целого мира; а может – что ничуть не лучше, а хуже всего, – за мной последует некто вроде меня самого, знаток и ценитель подобных построек, какой-нибудь лесной брат, созерцатель, но, в сущности-то, проходимец, желающий пожить на чужой счет. О, если бы он сейчас появился, если б его грязная похоть привела его к входу и он начал бы сдирать с него дерн, и обнажил бы щель, и протиснулся бы в нее вместо меня, выставив на мгновение свой зад, – если б все это случилось, о, как бы я безоглядно взъярился, как бы вцепился в него и загрыз, растерзал, разорвал на клочки, выпил бы его кровь, а труп сунул к остатней добыче! А главное, я очутился бы снова в своем убежище, стал бы теперь даже восхищаться своим лабиринтом и, натянув на себя покров из мха, предался бы неге до конца своей жизни. Но никого по-прежнему нет, я один-одинешенек. И все же, погруженный в эти трудности, я понемногу утрачиваю свою боязливость, все больше и больше кружу вокруг входа, что становится моим любимым занятием, и это начинает уже выглядеть так, будто я и есть тот самый враг, улучающий миг для успешного натиска. Будь у меня кто-нибудь, кому я мог бы доверить свой наблюдательный пост, тогда, несомненно, я бы с легкостью спустился. Я бы условился с ним, доверителем, чтобы он внимательно наблюдал за моим спуском и какое-то время после него и, чуть что, стучал бы по дерну. Вот и все, что мне было бы нужно от этого мира, он один, и ничего больше. Однако не потребовал бы он и ответной услуги? Хотя бы экскурсии по лабиринту. Но по доброй воле впустить кого-нибудь к себе – нет, для меня это было бы мукой. Я построил свой дом не для посетителей, а для себя и не впустил бы даже

того, кто обеспечивает мой собственный спуск. Да это было бы и невозможно, потому что либо я должен был бы тогда впустить его одного, о чем не может быть речи, либо мы должны были бы спуститься вместе, но тогда некому было бы приглядывать за моим спуском. А как быть с доверием? Одно дело доверять, глядя глаза в глаза, и совсем другое – доверять тому, кого не видишь, кто отделен от тебя дерном из мха. Нетрудно доверять тому, за кем наблюдаешь или, по крайней мере, можешь наблюдать, можно еще доверять иной раз тому, кого видишь хотя бы издали, но как доверять, находясь внутри, тому, кто находится снаружи? Впрочем, все эти сомнения излишни, достаточно понять, что во время или после моего спуска бесчисленные случайности жизни могут помешать моему доверенному лицу выполнить свой долг и к каким же невообразимым бедам для меня может привести его малейший сбой. Нет уж, если взвесить все со всех сторон хорошенько, то не стоит мне жаловаться на свое одиночество, на отсутствие того, кому я могу доверять. Так я не лишаюсь никаких преимуществ, зато избегаю ущерба. Доверять я могу только себе и своей постройке. Все нужно было продумать заранее, предусмотрев и меры на тот случай, который теперь меня занимает. Ведь в начале строительства это было хотя бы отчасти возможно.

Нужно было только так выстроить главный ход, чтобы он имел два лаза на соответствующем расстоянии друг от друга; и тогда, спустившись со всею мыслимой осторожностью по одному из них, я мог бы быстренько перебежать к другому и, приподняв нарочно для этой цели приспособленный дерн, наблюдать за происходящим несколько дней и ночей. Только так и следовало поступить. Правда, наличие двух щелей увеличивает опасность, но таким сообщением можно и пренебречь, тем более что отверстие для наблюдения могло бы быть предельно узким. И тут я, по обыкновению, предаюсь техническим расчетам, погружаюсь в мечты о совершенной постройке, это немного успокаивает меня; закрыв глаза, я с восторгом рисую себе то отчетливые, то приблизительные строительные перспективы, благодаря коим можно незаметно выскальзывать из своего жилья и проскальзывать обратно.

Когда я вот так лежу и размышляю, я оцениваю эти возможности очень высоко, но лишь как чисто технические достижения, а не как подлинные преимущества, ибо эти беспрепятственные скольжения туда-сюда – что в них? Да ничего, кроме тревоги, низкой самооценки, темных вожелений, дурного характера, который портится все больше, хотя как раз нерушимость моей крепости могла воздействовать на него благодатно, стоило бы только довериться ей целиком. Теперь-то, правда, я вне ее пределов и ищу способа вернуться; и тут необходимые технические усовершенствования оказались бы весьма кстати. А может, и нет. Может, это гнетущий унижительный страх заставляет видеть в постройке только спасительную нору, в которую хочется заползти. Да она таковой и является или должна ею быть, и как только вспомню, какие опасности меня окружают, то, стиснув зубы, настроив на предел свою волю, я сосредоточиваю свои желания на том, чтобы жилище мое и было такой спасительной дырой, чтобы эту свою ясно поставленную задачу оно выполняло с наивозможным совершенством, и никаких других задач я от него не требую. Но на самом-то деле – о чем в минуту бедствий легко забываешь, но и тогда следует помнить – постройка моя хоть и дает известное ощущение безопасности, но все же далеко не достаточное, так что голос тревоги в нем всегда слышен. Это другая, более возвышенная, насыщенная, нередко укрощаемая тревога, но ее разрушительное действие может быть не меньше той, что внушает жизнь снаружи. Если бы я возвел постройку, только чтобы застраховать свою жизнь, я хоть и не был бы обманут в своих ожиданиях, однако соотношение между чудовищными по напряжению трудами и реальной безопасностью, во всяком случае так, как я ее понимаю и способен пользоваться ею, оказалось бы мало благоприятным. Мучительно больно в этом признаться, но такое признание неизбежно, особенно когда смотришь на вон тот вход, который словно в судорожной зевоте зашелкнулся передо мной, своим строителем и владельцем. Слава богу, постройка моя не только спасительная нора. Когда я стою на главной своей, дворцовой площади, посреди громоздящихся мясных припасов, поворачиваясь

к десятку ходов, берущих отсюда начало, бегущих вверх или вниз, спрямленных или закругленных, расширяющихся или суживающихся, но равно пустынных и тихих, готовых повести меня ко множеству других площадок, тоже пустынных и тихих, – тогда я не задумываюсь о безопасности, тогда я знаю только, что здесь моя крепость, которую я когтями и зубами, трамбуя и прессуя, отвоевал у неуступчивой земли, моя крепость, которая не может принадлежать никому другому, настолько моя, что здесь я в конце-то концов спокойно приму от врага и разящий удар, ибо моя кровь просочится тогда в мою землю и тем самым не пропадет. В том-то и смысл тех блаженных часов, что я провожу то в полудреме, то в радостном бодрствовании в этих переходах, точнехонько на меня рассчитанных, на мои потягивания и ребячливые кувыркания, созерцательные полеживания и блаженные засыпания. А эти площадочки, вроде бы одинаковые, но которые я легко распознаю и с закрытыми глазами по одному только изгибу стен, – о, с какой теплой негой объемлют они меня, с большей негой, чем любое гнездо своих птиц. И всюду, всюду там – пустынно и тихо.

Но если это так, то отчего же я медлю, отчего боюсь вторжения больше, чем угрозы никогда больше не увидеть свои хоромы. Нет, этого последнего, к счастью, просто не может быть; мне ведь не нужно доказывать себе, что для меня значит моя постройка; она и я нераздельны, при всем моем страхе я мог бы поселиться в ней навсегда, для этого мне нужно себя в чем-то преодолевать, раскупоривая вход, достаточно просто побыть здесь какое-то время, и все само собой устроится, ничто нас не разлучит, я спущусь вниз. Вот только сколько времени пройдет до тех пор и сколько всего случится за это время, как здесь наверху, так и там внизу? От меня одного зависят сроки, я один могу предпринять все для этого необходимое хоть сейчас.

И вот, слегка ошалев от усталости, понурившись, плетясь, как в полусне, скорее на ощупь, на нетвердых ногах, пробираюсь я к входу, медленно приподнимаю дерн, медленно спускаюсь вниз, забываю по рассеянности покров тут же задернуть, потом спохватываюсь, возвращаюсь назад, хочу снова подняться, но зачем подниматься? Достаточно дерн опустить, что я наконец и делаю. Только в таком состоянии, исключительно в таком состоянии я могу все это проделать.

И вот уже я покоюсь под крышей из мха на груди сочащейся кровью добычи, обретая возможность предаться долгожданному сну. Ничто мне не мешает, никто меня не преследовал, над крышей, мнится, пока все спокойно, и, даже если бы все было беспокойно, у меня сейчас, наверное, не нашлось бы сил для наблюдений; я переменил место, спустившись из надземного мира в свою обитель, и сразу же ощутил действие этой перемены. То новый мир, дающий новые силы, и что наверху предстает как усталость, здесь не кажется таковой.

Я вернулся из своего вояжа, безумно измотанный его передрыгами, однако свидание со старым жильем, работа по его благоустройству, которая меня ожидает, необходимость хотя бы наскоро осмотреть все помещения, а главное, первым делом пробраться на центральную площадь – все это превращает мою усталость в беспокойное рвение, словно в тот миг, как я переступил порог дома, я восстал от долгого и глубокого сна. Первая же работа весьма трудоемка, требует полной самоотдачи: нужно протащить добычу через узкие, слабостенные проходы вестибюльного лабиринта. Я пыхчу что есть сил, и вроде бы получается, хотя слишком медленно, на мой взгляд. Чтобы это дело ускорить, я сдвигаю назад часть мясных масс и протискиваюсь поверх них, сквозь них; теперь передо мной только часть всего, вроде бы легче проталкивать добытое вперед, но я настолько стиснут мясами в этих узких проходах, что мне самому-то трудно из них выбраться, того и гляди, в них задохнешься, свое спасение из этих тисков я нахожу только в том, что начинаю все подряд жрать и лакать. Однако транспортировка таким образом удастся, я по возможности быстро преодолеваю лабиринт, протискиваю добычу через боковой коридор в главный проход, круто спускающийся к центральной площадке. Тут уж нетрудно, тут все скатывается вниз словно само по себе. Наконец-то главная площадь! Наконец-то заслуженный отдых. Все тут без изменений, никакой особой беды, по-видимому, не случилось, мелкие, бросившиеся мне в глаза повреждения, будут устранены, надо только сна-



чала совершить длинное путешествие по всем ходам-переходам, но это нетрудно, это все одно что поболтать с друзьями, как бывало когда-то, — не так уж я стар, но многое в памяти меркнет: то ли я сам болтал, то ли слышал, что так обычно болтают. Не спеша бреду я по второму ходу — ведь главную площадь я повидал, так что временем не ограничен, внутри постройки моей время вообще неподвижно, ибо все, что я там делаю, идет во благоую пользу и меня достаточно радует. Продвинувшись по второму ходу до середины, я обрываю ревизию, перехожу в ход третий, который возвращает меня, послушного, на главную площадь, откуда я снова двигаюсь по второму ходу. Так я играю с работой, множа ее, радуясь ей, смеясь и балдея оттого, что ее так много, зная, что я в любом случае ее не брошу. Ради вас, переходы мои и площадки, ради нужд твоих, главная площадь, прежде всего я и вернулся, рискнув наконец жизнью после того, как долгое время по глупости своей дрожал и откладывал возвращение. Что за дело мне до опасностей теперь, когда я с вами. Вы принадлежите мне, я — вам, мы связаны накрепко, и поэтому нам все нипочем. Пусть там, наверху, беснуется всякая чернь и какая-нибудь свирепая морда готовится прорвать завесу из мха. Но недвижно и немо стеной стоит за мои слова моя крепость.

Как раз тут, на одной из моих любимых площадок, овладевает мной какая-то вялая нега, и я слегка сворачиваюсь калачиком, хотя далеко не все еще осмотрел; наверстаю потом, осмотрю все до конца, я ведь не собираюсь здесь спать, понежусь только немного, сделаю вид, что устраиваюсь словно бы на ночлег, посмотрю, удастся ли это так же хорошо, как бывало. Разнежиться и впрямь удастся, зато не удастся вырваться из этой неги, и я засыпаю глубоким сном.

Должно быть, я спал очень долго. Только в самом конце сна, последнего, ускользающего, я просыпаюсь от легкого шороха: сон мой, стало быть, по-прежнему чуткий. И я тут же понимаю, в чем дело. Наверняка эта самая мелюзга, на которую я слишком мало обращаю внимания и которую слишком щажу, проторила за время моего отсутствия свои мелкие ходы, и, соединившись с моими ходами, они порождают теперь пошумливающий сквознячок. До чего же суетный этот народец и как раздражает всегда их усердие! Придется теперь прослушать все стены моего коридора и путем пробных раскопок установить сначала, откуда идет этот шип, а потом уж взяться за его устранение. Между прочим, новая прокладка таких мелких туннелей может оказаться в целях дополнительного проветривания весьма кстати. Однако с мелюзгой отныне я буду крут, никто теперь не дождется пощады.

В таких делах я немало поупражнялся, так что обследования мои не затянутся надолго, и начну я их прямо сейчас; предстоят, правда, и кое-какие другие работы, но эта — самая неотложная, в коридорах моих должно быть тихо. Хотя этот шорох из тех, что едва уловимы; поначалу, как вернулся, я и не слышал его, а он наверняка уже был, просто понадобилось некоторое время, чтобы я снова ко всему попривык, настроил, так сказать, ухо; есть ведь звуки, которые улавливает только ухо домовладельца. Да он, этот шум, и не постоянный, не такой, какими бывают обыкновенно подобные звуки в доме; он делает паузы, иной раз большие; дело, видимо, в том, что происходят накопления воздуха в каких-то пазах. Начинаю обследовать, но никак не могу определить место, где нужно копать; рою в разных местах, но все наугад и, конечно, без толку, надрываюсь только, извожу силы, копая и, еще больше, засыпая потом землей и разравнивая. И ничуть не приближаясь к месту, откуда исходит звук — все такой же монотонный и слабый, с равномерными паузами, похожий то на посвистывание, то на шипение. Оставить, что ли, все как есть, хотя, с другой стороны, звук этот меня раздражает.

Источник-то звука мне и так ясен, и вряд ли звук станет сильнее, а может, и сам по себе уйдет вместе с этими малютками-бурильщиками, как уж не раз бывало; кроме того, на след нарушителей простая случайность наводит нас чаще, чем систематические поиски, остающиеся без результата. Так я себя утешаю, желая продолжить свои прогулки по коридорам и площадкам, которых еще не видел по возвращении, особо желая отвести душу на главной площади, но что-то не отпускает меня, заставляет продолжить поиски. Ох уж эта мелюзга, сколько

отнимает времени, потребного для других, лучших занятий. Какая-нибудь чисто техническая проблема – вот что больше всего меня привлекает. К примеру, по характеру звука, все оттенки которого доступны моему слуху, я определяю источник звучания, и меня тянет проверить, соответствует ли моя догадка действительности. Так и надо, потому что мне делается не по себе, когда ни в чем нет уверенности – даже в том, например, куда скатится песчинка, упавшая со стены. А уж откуда идет этот звук, я и вовсе должен знать наверняка, это штука важная. Однако важная она или не важная, сколько не ищу, ничего не могу найти, вернее, нахожу слишком много всего. Похоже, это на моей любимой площадке, не злая ли шутка? Отхожу подальше, чтобы проверить, нет ли и там, в боковых ходах, такого же шума, не веря тому, улыбаюсь, но вскоре перестая улыбаться – потому что такой же шум есть и там. Пустяк, едва различимый, но ведь я-то его слышу, а напрягая натренированный слух, слышу отчетливо, хотя он ничем не отличим от того шума, что раздается в других местах, в чем я путем сравнения могу убедиться. Отойдя от стены на середину прохода, обнаруживаю, что звук здесь такой же или еще слабее. Местами я вынужден сосредоточенно напрягаться, чтобы его скорее угадать, чем различить, – даже не звук уже, а как бы дыхание звука. Однако как раз эта его одинаковость в разных точках и тревожит меня больше всего – потому что не согласуется с первоначальным моим предположением. Если бы я обнаружил источник шума, он был бы сильнее около того искомого места, откуда исходит, и чем дальше от него, тем слабее. Но раз это мое объяснение не подходит, то что бы это значило? Не существуют ли тогда два шумовых центра, и когда я удаляюсь от одного из них, его шумы, конечно, ослабевают, зато усиливаются другие, и слуховой баланс сохраняется.

Следуя своему новому предположению, я, напрягая свой слух до предела, чуть ли не готов был бы различить, хоть и весьма смутно, особенности каждого звучания. Во всяком случае, мне необходимо расширить пространство исследований, намеченных поначалу. Вернусь поэтому на главную площадь и начну прослушивание оттуда. Странное дело, и здесь тот же шум. Очевидно, его производят, роя землю, какие-то ничтожества, подлым образом воспользовавшиеся моим отсутствием; против меня они, видимо, ничего не замышляют, просто роют себе и роют и будут рыть, держась взятого направления, до тех пор, пока не уткнутся в какой-нибудь камень; все это я знаю, и все же это неслыханно, это тревожит меня и волнует – а как раз спокойная уверенность так необходима мне для работы, – нет, какова дерзость с их стороны: подобраться к самому моему центру! Не берусь судить, что их сперва привлекло, а потом отпугнуло – немалая глубина, на которой выстроена моя крепостная площадь, ее протяженность и, стало быть, воздушные потоки или сам факт, что это центр постройки, факт, о котором эти тупицы каким-то образом прознали. Как бы там ни было, но никаких раскопок у самых стен моей крепости я доселе не замечал. Правда, всякая живность, привлеченная сильнейшими испарениями, стекалась сюда иной раз и прежде, и случалось мне потешиться на охоте, когда они, проникнув откуда-то сверху, разбегались врассыпную потом по коридорам. Но теперь-то они буравили землю чуть ли не в самих коридорах. Ах, если б я только успел осуществить планы моей юности и первых лет зрелости, вернее, если б я совладал с ними, потому как доброй воли к тому всегда хватало. Один из моих любимых планов состоял в том, чтобы отделить главную площадь от окружающей ее земли, то есть оставить что-то вроде крепостной стены толщиной с мой рост, высвободив некое пустое пространство длиной в стену, покоящееся на общем фундаменте с нею. Это пустующее пространство я всегда представлял себе – имея на то все основания – как идеальное место отдыха. Зависать над сводом, соскальзывать вниз, кувыряться, вновь и вновь обретая пол под ногами, и все эти штуки проделывать прямо-таки на теле дворцовой площади и в то же время вне ее; избегать на время ее, давая глазам отдохнуть от нее, чтобы тем большей была потом радость новой встречи с нею, доступной, если вцепиться в нее когтями, что невозможно, если иметь только один обычный к ней ход. И прежде всего – стеречь ее; имея возможность в награду за разлуку с нею – выбирать

между пустым пространством и крепостной площадью, навсегда выбрать пустое пространство и ходить там взад-вперед как на часах, охраняя площадь. И не было бы тогда никаких шорохов в стенах, никакой наглец не подкапывался бы под мой лабиринт; воцарился бы мир на земле, и я был бы его хранителем; и не звуки копающей мелюзги я бы слушал, а – с восторгом, которого мне теперь так не хватает, – слушал бы тишину.

Но всех этих прелестей не существует, и мне пора приниматься за работу, радуясь хотя бы тому, что она связана с главной площадью, хоть это меня окрыляет. Правда, мне придется напрячь все свои силы, чтобы справиться с нею: как всегда, не сразу понимаешь, что сил требуется больше, чем представлялось вначале. Вот, прослушиваю теперь стены на главной площади, и везде, везде, сверху донизу, по краям и в середине слышен этот шум. А сколько времени, сколько сил уходит на это затаенное прослушивание. Единственное утешение, крошечное, можно при желании усмотреть в том, что если оторвать ухо от земли посреди самой площади, то вроде бы ничего не слышно – в сравнении с тем, во всяком случае, что звучит в коридорах. Так что здесь я прислушиваюсь, только чтобы хоть немного успокоиться, прийти в себя. Слушаю изо всех сил – и ничего, и я счастлив. Однако что же все-таки произошло? Первоначальные мои объяснения пошли прахом. Но и другие возможные объяснения я вынужден отклонить. Мол, это шумит сама мелюзга, занятая рытьем. Слишком не похоже на данные моего опыта; если я никогда прежде их не слышал, хотя они всегда здесь были, то не могу же я вдруг начать их слышать. Чувствительность моя к помехам внутри жилища с годами, может быть, возросла, но ведь слух не стал тоньше. В том-то и особенность этой мелкоты, что их не слышно. Иначе разве я стал бы терпеть их раньше? Даже под страхом голодной смерти я бы их уничтожил. Но и эта мысль может быть ложной, не исключено ведь, что это роет еще не ведомый мне зверюга. Все возможно. Я хоть и наблюдаю здешний подземный мир много лет, но ведь он многообразен и сюрпризов в нем предостаточно.

Но вряд ли это кто-то один, их, видимо, целая стая, вторгшаяся в мои пределы, размером они могут быть чуть больше привычной мелкоты, однако, видимо, не намного, потому что производимый ими шум ничтожен. Итак, это могут быть неизвестные твари из числа тех, что вечно кочуют, и тогда помехи исчезнут вскоре сами собой. В таком случае нужно только немного подождать, ничего не предпринимая. Но если это чужаки, то почему я их доселе не видел? Сколько проделал раскопок, но так и не смог пока никого поймать. Может, они еще меньше прежних, мне известных, совсем крохотули, хотя шума производят побольше. Что ж, попытаюсь просеять ту землю, что вырыл, вот так – подбрасывая ее вверх, но нет, в осыпи их, шумливых, тоже не видно. Начинаю соображать, что таким наугад рытьем я ничего не добьюсь; шаря наспех то здесь, то там, я только порчу стены своего жилища и загромождаю проходы кучами земли, которую не успеваю убрать. Правда, сейчас мне не до этого, некогда мне разгуживать по лабиринту, да и отдыхать некогда, разве что прикорну иной раз в какой-нибудь ямке, оставив лапу в земле над собой, там, где как раз начал рыть. Отныне я изменю свой метод. Буду держаться одного направления – в сторону шума – и не прекращу копать до тех пор, пока, забыв всякие там теоретические выкладки, не обнаружу его источник. И тогда устраню его, если достанет сил, а нет, так смогу убедиться, по крайней мере, что отыскал причину. Это даст мне покой или приведет в отчаяние, но, так или иначе, все сомнения мои отпадут или будут оправданы.

Такое решение действует на меня благотворно. Все, что я делал до сих пор, кажется мне слишком поспешным, вызванным смятенным состоянием духа после возвращения из надземного мира в родные пенаты, где, столкнувшись с сюрпризом, я не сразу мог сообразить, что к чему. Да и что тут такого?

Ну шипит себе и шипит что-то еле слышно, с длинными перерывами, ничего особенного, к чему не то чтобы можно было привыкнуть – нет, привыкнуть к такому нельзя, – но за чем можно было некоторое время наблюдать, ничего не предпринимая, прислушиваясь, например,

каждые два часа и регистрируя изменения. А набрасываться на стены в разных местах и лихорадочно рыть землю не стоит, тем более что делаешь это не столько для того, чтобы что-то найти, а для собственного успокоения.

Надеюсь, теперь все будет иначе. Хотя не очень-то и надеюсь, с другой стороны, ибо чувствую, что весь дрожу – той самой дрожью, что была у меня и несколько часов назад, и, если бы меня не удерживал разум, я бы снова набросился на эти стены и стал рыть и копать, истово и упрямо, лишь бы что-нибудь делать, точно так же, как эти мелкие твари, которые роют либо без всякого смысла, либо потому, что жрут землю. Новый разумный план и привлекает меня, и не привлекает. Возразить против него вообще-то нечего, во всяком случае, я не нахожу возражений, и он должен привести к цели.

И все-таки в глубине души я в него не верю – настолько, что даже не боюсь его ужасных последствий: думается, я их предвидел уже тогда, когда впервые слышал эти шипящие звуки, и только моя неуверенность помешала мне сразу начать это рытье. Тем не менее я его начну, ничего другого мне не остается, только отложу ненадолго работу.

Пусть сначала успокоятся чувства, чтобы больше не делать ничего впопыхах. Прежде всего займусь починкой того, что порушил, ринувшись рыть без всякого смысла; времени уйдет на это немало, да нечего делать, новый ров, если приведет к цели, будет длинным, а если не приведет – бесконечным; как бы там ни было, но эта работа надолго оторвет меня от жилища, вряд ли это будет так скверно, как пребывание на поверхности: ведь я смогу делать перерывы в работе, когда захочу, навещать свою крепость, а нет, так свежий воздух оттуда будет овеивать меня во время трудов моих. Здесь, позади себя, я хочу оставить все в полном порядке, иначе получится, что уют, которого я так добивался, мною же уничтожен и не восстановлен. Начинаю с того, что загребая обратно в ямки вырытую оттуда землю, дело привычное, занимался я этим несметное число раз, даже не осознавая это как труд; а уж утрамбовать и выровнять землю – не похвальба сие, а голая истина, – в этом деле равных мне не сыскать. Но сейчас-то мне тяжело, я слишком рассеян, то и дело припадаю ухом к стене, не замечая местами, как только что воздвигнутая наверх земля начинает осыпаться на дно прохода.

Наведение последнего лоска, требующее особого тщания, мне сейчас явно не по силам. Безобразные бугры, тревожащие глаз трещины там и сям остаются, не давая восстановить прежний изящный изгиб свода. Стараюсь утешиться тем, что ведь это предварительные работы. Вот вернусь, обретя равновесие духа, и мигом все исправлю. Так и бывает все в сказках, и это мое утешение – тоже сказка.

Куда лучше было бы сразу же добиваться совершенства, а не тратить время на хождение по коридорам в поисках новых шорохов, что, конечно, не стоит усилий: остановись себе где-нибудь у стены да прислони только ухо. Попутно делаю целый ряд бесполезных открытий. Временами мне кажется, что шум прекратился, паузы ведь бывают длинные, а иногда кровь стучит в висках так, что ничего другого не слышно, или две паузы сливаются в одну, и тогда кажется, что это шипение навсегда умолкло. И не надо больше прислушиваться, вскакивай, радуясь перелому в жизни, пей тишину, льющуюся из всех родников. Опасаешься проверить свое открытие, которым так хочется с кем-нибудь поделиться; ну хоть с любимой крепостной площадью, скачешь галопом туда, чувствуя, что всем существом своим пробудился для новой жизни, вспоминаешь, что во рту давно не было и маковой росинки, вырываешь из-под осыпей какие-то припасы и, не успев проглотить их, мчишься к тому месту, где было сделано это невероятное открытие, чтобы не откладывая, во время пира проверить его еще раз, но тут – даже не надо особо прислушиваться – убеждаешься, что позорно ошибся, – там, вдали, опять он, несокрушимый шип. Выплываешь в сердцах пищу, желая растоптать ее, и возвращаешься к своей работе, неосознанно ковыряешь где придется, будто явился некий надзиратель и ты ломаешь перед ним комедию. Потом вдруг, едва снова втянулся в работу, – новое открытие. Шум, мнится мне, стал сильнее, не намного, конечно, тут речь всегда идет о нюансах, однако

же ухо различает явные изменения. И это сильнее означает не что иное, как ближе – настолько, что начинаешь не только слышать, но как будто и видеть приближающиеся шаги. Отскочив от стены, озираешься кругом, ища возможных последствий этого открытия. И сразу же возникает чувство, что ничего здесь, собственно говоря, не сделано толком для нужд обороны; то есть намерение такое было, но, несмотря на весь жизненный опыт, заботы при отражении натиска и осады не то чтобы устранились совсем (что было бы невозможно!), но очутились все же на втором плане, уступив нуждам обустройства уютной мирной жизни, чему и отданы были все силы. Много можно было бы сделать, не перечая общему плану, – отчего же возникли вдруг эти непонятные упущения? Видимо, слишком везло мне в последние годы, счастье разбаловало меня; правда, иной раз набегала тревога, но что толку от тревожного чувства посреди счастья.

Что сейчас следовало бы в первую голову предпринять – так это осмотреть жилище с точки зрения отражения всех возможных опасностей, разработать план перестройки всего моего лабиринта с этой точки зрения и затем бодро, как в юные годы, взяться за дело. Вот работа самая неотложная, но и она, если по правде, запоздала; хотя все равно в ней больше толку, чем в рытье какого-то рва, чем я занимаюсь в дурацкой надежде отыскать опасность, которую тем самым я, может быть, только приближаю. Смысл моего прежнего плана ускользает от меня. В нем, казавшемся мне столь разумным, я не вижу теперь ни грана разумности; и я снова бросаю работу, перестаю прислушиваться, искать новые подтверждения, хватит с меня открытий, мне бы только утихомирить свои смятения.

Вновь ходы мои подхватывают меня, уводят вдаль, туда, где я еще не был по возвращении и ничего там лапами своими не скреб; проснувшись от моих шагов тишина накрывает меня там своим одеялом. Но я не отдаюсь ей, спешу дальше, даже не зная, чего ищу, вероятно, отсрочки. Так плутая, я оказываюсь у вестибюльного лабиринта, меня тянет послушать звуки у самого дерна; почему-то далекая жизнь, в эту минуту особенно далекая, волнует меня. Притискиваюсь к самому верху и слушаю. Глубокая тишина; как здесь славно, никому там нет дела до моей постройки, всякий занят своим делом, со мной никак не связанным, и как только мне удалось такого состояния добиться. Здесь, у самого дерна, может, единственное место в моем лабиринте, где часами царит мертвая тишина. Вот ведь как все перевернулось в моей постройке: место, казавшееся самым опасным, сделалось самым мирным, а крепостное сооружение втянуто вдруг в круговорот шумных опасностей жизни. Хуже того, и здесь на самом-то деле никакого покоя, и здесь ничего не изменилось, шумно или тихо, но опасность по-прежнему подстерегает меня поверх мха, просто я стал к ней нечувствителен, ибо слишком занят этим шипеньем внутри моих стен. Но занят ли я им? Звуки усиливаются, приближаются, а я разгуливаю по своему лабиринту, а потом устраиваюсь здесь, наверху, у самого дерна, словно уже уступил свой дом Шипящему, довольный и тем, что меня не гонят хотя бы отсюда. Шипящему?

Разве у меня уже есть новое определенное мнение об источнике шума? Я ведь полагал, что это воздух гуляет в желобках, которые роет для себя вся эта мелкота. Разве не таково мое мнение? С ним я вроде бы еще не расстался. И если не в самих желобках дело, то где-то около. А если все и не так, то все равно нужно ждать, пока, быть может, обнаружишь причину или она обнаружится сама. Предположений можно и теперь выстроить сколько угодно – можно сказать, например, что где-то там прорвалась вода и то, что мне кажется шипеньем, есть на самом деле плесканье. Однако, не говоря уже о том, что я с подобным не сталкивался – я ведь сразу отвел в сторону почвенные воды, на которые натолкнулся, и в песок они ушли навсегда, – шипенье трудно перепутать с плесканьем. Нет, фантазию мою таким образом не сдержат, так и чудится мне, что это шумит зверь, и не какая-то там мелкота, а один зверь, крупный. Хотя многое говорит против этого. Ведь шум слышен повсюду, равномерно и монотонно, день и ночь. Конечно, первой приходит на ум мысль о многих мелких зверушках, но, поскольку я не обнаружил ни одной из них при раскопках, остается предполагать, что это все-таки крупный

зверь. Против такого допущения выступает вовсе не невозможность, а непредставимость грядущей опасности. Только поэтому я доселе противился этой мысли. Отныне с самообманом покончено. Я ведь давно догадываюсь, отчего этот звук слышен даже на большом расстоянии: видимо, там рьяно работает какая-то тварь, продираясь сквозь землю с такою же скоростью, с какой иной из нас идет по пустынному коридору; земля еще содрогается от его рытья, когда он уже удалился; звук работы сливается с эхом работы, оттого-то я слышу этот гул повсюду. Влияет на слышимость еще и то, что это животное роет несколько в сторону от меня, следуя плану, который мне непонятен; не исключено, что и оно не ведает обо мне, а описывает какие-то круги вокруг моего жилища, и уже несколько раз обошло вокруг меня с тех пор, как веду свои наблюдения. Загадочен и самый характер этого звука – то ли посвистыванье, то ли шипенье. Когда я сам скребу и сгребаю землю, звуки бывают иными. Шипенье я могу объяснить только тем, что главным орудием этой твари являются не когти, служащие, может быть, только подспорьем, но его морда или пятак с какими-нибудь мощными, острыми клыками. Вероятно, он рывком вонзает клыки свои в землю, вырывая немалый ком, – в это время я ничего не слышу, это и есть пауза; а затем он втягивает в себя воздух для нового рывка. Вот это-то втягивание воздуха, громыхающее, должно быть, как в силу мощи животного, так и его усердной спешки, и доносится до меня в виде легкого шипенья. Однако совершенно непонятной остается его способность работать без передышки; может, короткие паузы заменяют ему длительный отдых, какого, на мой взгляд, еще не было ни разу. И денно и нощно роет и роет себе эта тварь непрерывно, не сбавляя напора, как будто спеша выполнить намеченный план, для осуществления коего у нее есть все основания. Да, такого противника у меня еще не было. Но помимо всех его чрезвычайностей, тут имеет место и то, чего я, собственно говоря, всегда должен был опасаться, к чему должен был давно изготавиться: ко мне грядет Некто! Как могло случиться, что так долго все было тихо и безмятежно! Кто вел врагов моих по путям, далеким от моих владений? Что за сила хранила меня так долго, чтобы так теперь меня напугать? Что значат все те мелкие опасности, на обдумывание которых потратил я уйму времени, по сравнению с этой одной! Или я, владея этой постройкой, рассчитывал на перевес в споре с любым пришельцем? Именно как владелец столь обширного и уязвимого жилища я беззащитен перед любым серьезным нападением. Счастье обладания им избаловало меня, его уязвимость сделала и меня уязвимым, его повреждения причиняют мне боль, как мои. Все это мне нужно было предвидеть, думать не только о защите самого себя – хотя и к этому я относился легкомысленно и бездумно, – но о защите постройки. Следовало прежде всего позаботиться о том, чтобы в случае нападения отдельные ее части можно было бы легко и быстро засыпать, обрушив достаточные массы земли, – так, чтобы нападающему и в голову не пришло, что он еще не достиг цели, что основная часть крепостного лабиринта находится в стороне. Больше того, эти обрушения следовало произвести так, чтобы они не только скрыли от глаз основную постройку, но и погребли под собой пришельца. Ничегошеньки подобного я не сделал, ничегошеньки не предпринял, жил легкомысленно, как дитя, годы зрелости провел в детских забавах, даже в мысли об опасностях я был погружен, как в игру, ни разу не удосужившись подумать об опасностях настоящих. А ведь сколько было предостережений.

Правда, таких, как теперь, не случалось – разве что еще в самом начале строительства. Разница в том, однако, что ведь то было самое начало... Работал я тогда как мальчонка-ученик над самым первым проходом, лабиринт был еще только намечен в самых общих чертах, первую свою площадку я хоть и вырыл, но и размером, и отделкой стен вышла она неудачно; словом, все было еще в зачатке, все можно было считать первой пробой, которую, оборвись вдруг терпение, нетрудно и бросить без каких-либо сожалений. Вот тогда-то лежал я однажды на куче земли во время очередной передышки – вообще-то, передышек было много в моей жизни, – как вдруг услышал какой-то шум в отдалении.

Я был молод тогда, и любопытства во мне было больше, чем страха. Я стал прислушиваться, я весь превратился в слух, убежать подальше в лабиринт и затаиться под дерном даже не пришло мне в голову. Я только слушал себе и слушал. Было ясно, что кто-то роет землю, подобно мне, правда, звук был послабее, хотя какое было между нами расстояние, было трудно сказать. Я насторожился, но самообладания не потерял. Может, я занял чужое владение, подумал я, и хозяин теперь прорывает ход ко мне. Если бы предположение мое оправдалось, я, не имея склонности к завоеваниям и битвам, вероятно, удалился бы отсюда подальше и там начал бы новую стройку. Что ж, я был еще молод и бездомен и мог сохранять хладнокровие. Дальнейший ход событий также не принес мне особых волнений, только понять его было не так уж легко. То ли тот, кто там рыл и, возможно, стремился ко мне, изменил направление, потому что я, прервав работу, лишил его ориентира, то ли он сам изменил свои намерения. А может, я просто ошибся и он вовсе не направлялся ко мне. Какое-то время шум еще усиливался, и я по молодости лет своих уже раззадорился встречать землекопа, который вот-вот появится передо мной; но потом шум стал затихать, удаляться, словно бы уходить в противоположную сторону, и наконец совсем смолк. Долго еще я пытался уловить его звуки в наступившей тишине, пока не принялся снова за дело. Это предостережение было достаточно внятным, но я скоро забыл о нем, и на мои строительные планы оно не повлияло.

Между тогдашним временем и сегодняшним пролегли мои зрелые годы; но не выглядит ли все так, будто между ними ничего и не было? Я все еще делаю длинные передышки в работе и прислушиваюсь к своим стенам, а землекоп снова изменил свои планы, он поворачивает обратно, он возвращается из своего путешествия, он полагает, что дал мне достаточно времени, чтобы подготовиться к его приему. А у меня все обустроено хуже, чем тогда, хотя теперь я не мальчишка-новичок, а старый опытный зодчий. В решительную минуту силы мои могут и отказать, но как я ни стар, иногда мне хочется быть еще старше, таким, чтобы не было даже желания подниматься со своего ложа из мха. А на самом-то деле я не могу здесь выдержать долго, вот уже вскакиваю и мчусь снова вниз, в свое жилище, вовсе не отдохнув, а только растревожив себя новыми заботами. Как обстоят тут дела? Стало ли шипенье слабее? Нет, оно усилилось. Я прислушиваюсь в десятке мест и понимаю, что опять предался иллюзиям: шум повсюду одинаков, ничего не изменилось. Там, у супостатов, ничего не меняется, там спокойны, надвременны и надмирны, а здесь каждый миг сотрясает слухача до основания. И я снова иду по длинному коридору на дворцовую площадь; все вокруг словно насторожилось, ловит мой взгляд и отводит глаза, чтобы мне не мешать, и тут же снова пытается в моих глазах прочесть спасительное решение. Я качаю головой, его еще нет у меня. И на площадь я иду не во исполнение определенного плана. Проходя мимо того места, где я собирался копать свой наблюдательный ров, я еще раз осматриваю его; место выбрано очень удачно, ров протянулся бы в ту сторону, где имеется целая сеть мелких воздухопроводов, они очень облегчили бы мне работу; может, и копать не пришлось бы долго, чтобы добраться до источника шума, может, и прослушки воздухопроводов бы хватило. Но никакие резоны уже не в силах заставить меня приняться за этот ров. Что, он дал бы мне достоверные сведения? Однако я дошел уже до того, что и достоверных сведений мне не надо. На площади я выбираю добрый кусок освежеванного красного мяса и заползаю с ним в кучу земли, там хоть будет тихо, если еще есть где-нибудь тишина. Лакомясь мясом, смакуя, я думаю то о том незнакомце, что прокладывает вдали свой путь, то о том, что мне надо бы, пока есть время, приналечь на свои запасы. Вероятно, это и есть мой единственный выполнимый план. А еще я пытаюсь разгадать план пришельца. Странник он или тоже строитель? Если он путник, то с ним, по-видимому, можно бы договориться. Если он пробьется ко мне, дам ему что-нибудь из припасов, и он отправится дальше.

Хорошо бы так. На своей земляной куче можно мечтать о чем угодно, даже о мире и согласии, хотя я-то хорошо знаю, что ничего подобного не бывает, что, окажись мы поблизости, мы тотчас, даже если сыты, как голодные псы вцепимся в глотку друг другу, пустив в ход и

когти, и зубы. И сделаем это по праву, ибо какой же странник, завидев такое жилье, не поменял бы свои паломнические планы? Но может, эта тварь тоже роет себе нору, тогда о согласии нечего думать. Даже если этот новосел готов терпеть соседа, то я-то терпеть его не намерен, особенно если он издает столько шума.

Правда, он, похоже, довольно далеко, а если еще немного удалится, то исчезнет, возможно, и шум, и все опять будет хорошо, как в старое доброе время; и станет это происшествие тогда лишь злым, но полезным опытом, который побудит меня к различным усовершенствованиям; успокоившись, избежав близкой опасности, я еще способен на многое.

А может, эта тварь, при ее-то чудовищных возможностях, передумает двигаться в мою сторону, с лихвой вознаградив себя на стороне противоположной.

И это достижимо, конечно, не путем переговоров, а если в нем проснется разум или я покажу свою силу. В обоих случаях важно, знает ли обо мне и что именно знает мой супротивник. Чем больше я размышляю об этом, тем невероятнее мне представляется, что это существо вообще меня слышало; возможно, хотя и с трудом представимо, что какими-то сведениями обо мне оно все же располагает, но слышать меня оно вряд ли могло. Пока я ничего не ведал о нем, оно вообще не могло меня слышать, потому что тогда я вел себя очень тихо, свидание с любимым жильем вообще протекает в тишине полнейшей, потом, когда я начал рыть ров, оно могло бы что-то услышать, хотя рою я всегда почти бесшумно; но если бы оно что-то и услышало, то повело бы себя иначе – стало бы делать в работе своей перерывы, чтобы прислушиваться... Но ведь ничего подобного не было...



## Созерцание

*Посвящается М. Б. (Максу Броду)*

### Дети на улице

Я слышал, как вдоль садовой решетки проезжали экипажи, иногда сквозь прорезь листвы, слабо колышущуюся, мне удавалось их видеть. Как громыхали на жаре их оглобли и спицы! С полей возвращались, бесстыдно посмеиваясь, рабочие.

Я сидел себе на наших качельках в родительском саду, посреди деревьев.

А за решеткой что-нибудь да происходило. Ребяшня пробегала, телеги со снопами, на которых сидели жнецы и жницы, погружали в тень наши клумбы; под вечер, я видел, прошествовал какой-то господин с тросточкой, навстречу ему шли девочки, держась друг за дружку, поздоровавшись, они посторонились, сойдя на траву.

Потом вдруг прыснули вверх птицы, я проследил за ними глазами, а они так резко взмыли, что мне почудилось, что это не они вверх, а я лечу вниз, и я ухватился покрепче за веревки качелей и слегка покачнулся. Потом стал раскачиваться сильнее, когда уже повеяло прохладой и вместо птиц в небе обозначились дрожащие звезды.

При свечах я получал свой ужин. Нередко я ел свой бутерброд, водрузив от усталости локти на стол. Рваные занавеси колыхались на теплом ветру, иной раз их подхватывал кто-нибудь из прохожих, если хотел получше рассмотреть меня и поговорить со мной. Свечи чаще всего не хватало надолго, и в оставшемся от нее чаде какое-то время еще кружились мошки. Если с улицы ко мне обращались с вопросом, я смотрел на спрашивающего так, будто смотрю в пустоту или на горы, да и он, по видимости, не был особенно-то заинтересован в ответе.

А залезал кто-нибудь на подоконник, чтобы сообщить, что все уже у самого дома, я тогда, конечно, со вздохом поднимался со стула.

– Нет, а чего это ты вдруг развздыхался? Что случилось? Что-то и впрямь ужасное, чего не исправить? Отчего мы не придем в себя? Что, все так безнадежно?

Ничего не случилось. Мы выбегали им навстречу.

– Наконец-то вы, слава богу! – Вечно ты опаздываешь! – Почему вдруг я? – Ты, ты! Сиди себе дома, если не хочешь с нами. – Немилосердно! – Что, что? Немилосердно? Что ты несешь?

Мы прорывали головами занавес вечера. Не было больше ни дня, ни ночи. То мы терлись пуговицами друг о друга, то бежали на отдалении, как животные в пустыне, огнедышащие. Как кирасиры в былых битвах, вздымаясь повыше, мы гнали друг друга вниз по переулку, а затем, разогнавшись, и вверх по улице, что вела из города. Кое-кто взбирался на рвы и, едва растворившись в кустах, они тут же оказывались на верхней дороге и, как чужаки, поглядывали сверху на нас.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.